



**И. И. ВИНОГРАДОВ**

## **Философский роман Лермонтова**

Царство истины есть обетованная земля,  
и путь к ней — аравийская пустыня.

*В. Г. Белинский.* «Герой нашего времени».  
Сочинение М. Лермонтова

### 1

Время, последовавшее за 1825 годом, было жестоко и мрачно. «Понадобилось не менее десятка лет, — пишет Герцен, — чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении поработанного и гонимого существа». Высшее общество при первом же ударе грома, разразившегося над его головой после 14 декабря, быстро «растеряло слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве. Русская аристократия уже не оправилась в царствование Николая, пора ее цветения прошла; все, что было в ней благородного и великодушного, томилось в рудниках или в Сибири», — те, что остались, — «испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место: они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались... Казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки». Всюду, насколько хватало глаз, медленно текла «глубокая и грязная река цивилизованной России, с ее аристократами, бюрократами, офицерами, жандармами, великими князьями и императором, — бесформенная и безгласная масса низости, раболепства, жестокости и зависти, увлекающая и поглощающая все...»

Эту повседневную реальность можно было презирать, но с нею трудно было не считаться. Она напоминала о себе настойчиво и ежечасно, она вставала глухой мертвой стеной на пути лучших стремлений, благороднейших помыслов; для мысли, пробивавшейся сквозь нее к истине, она таила множество опасных ловушек и безнадежных тупиков — все в ней было приспособлено к тому, чтобы служить надежным кладбищем свободного сознания. Торжествующий, укоренившийся, казалось, навсегда распорядок жизни всероссийской казармы-канцелярии отнимал всякую веру в целесообразность служения добру, в грядущее его торжество.

Удивительно ли, что судьбы большинства образованных, мыслящих людей эпохи оказались поразительно сходными?

Положение тех, кому выпало жить в эпохи, подобные николаевской, достаточно хорошо известно, и кажется, знаменитая формула Герцена определяет его вполне и точно: «Цивилизация и рабство — даже без всякого лоскутка между ними, который помешал бы раздробить нас физически или духовно меж этими двумя насильственно сближенными крайностями! Нам дают широкое образование, нам прививают желания, стремления, страдания современного мира, а потом кричат: “Оставайтесь рабами, немymi и пассивными, иначе вы погибли”...»

Разве трагизм этой ситуации не уготавливает одну и ту же безотрадную судьбу всем, кто не находит, как говорит Герцен, «ни малейшего живого интереса в этом мире низкопоклонства и мелкого честолюбия», но, однако же, именно в этом обществе принужден влачить свое существование? На что мог употребить свои силы, свою жизнь, чем мог наполнить свое существование человек, которому единственным результатом борьбы представлялось бессмысленное погребение заживо в казематах какой-нибудь крепости, а служить для того, чтобы выслуживаться, он все-таки не желал, как не желал и опуститься до полного одичания, погибнуть в кабаках или в домах терпимости?..

Каждая эпоха рождает свой господствующий тип человеческой личности — в том числе и среди умственно развитой, мыслящей его части. И сходные эпохи — сходных героев. Господствующим типом эпох безвременья, особенно таких, что длились долго и отличались особенной мрачностью, всегда был тот тип человеческой личности, который известен у нас, в истории русской общественной мысли, под горьким названием «лишнего человека».

Григорий Александрович Печорин, с которым познакомилось русское общество в 1839—1840 годах, всецело принадлежит, конечно же, к этому типу. Перед нами молодой, двадцатипятилетний человек, бесцельно разменивающий свою жизнь в «страстях пустых и неблагодарных», с отчаянием задающий себе один и тот же мучительный вопрос: «Зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения...»

Герцен писал о своем поколении — том поколении, к которому принадлежал и Печорин: «...все мы в большей или меньшей степени Онегины, если только не предпочитаем быть ч и н о в н и к а м и или п о м е щ и к а м и. Цивилизация нас губит... заставляет переходить от чудачества к разгулу, без сожаления растрачивать наше состояние, наше сердце, нашу юность в поисках занятий, ощущений, развлечений, подобно тем ахенским собакам у Гейне, которые, как милости, просят у прохожих пинка, чтобы разогнать скуку. Мы занимаемся всем: музыкой, философией, любовью, военным искусством, мистицизмом, чтобы только рассеяться, чтобы забыть об угнетающей нас огромной пустоте».

Печорин не предается мистицизму, не занимается музыкой, не изучает философию или военное искусство. У него деятельная душа, требующая движения, воли, энергического жизненного проявления, — он предпочитает подставлять лоб чеченским пулям, он готов на все, чтобы похитить приглянувшуюся ему горянку и добиться ее любви, он планомерно и изобретательно преследует молоденькую княжну Мери, он развлекается кознями своих врагов, рискует жизнью ради мелькнувшего вдруг желания проверить на собственном опыте, есть ли и вправду фатальное предопределение судьбы...

Но что же и это все, если не поиски какого-то выхода, если не попытка как-то рассеяться, забыть об угнетающей «огромной пустоте»? Печорина тоже преследует *скука*; тяжелый, пронизательный взгляд его, который «мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен», скользит по окружающим с холодным безразличием, и сознание, что жить такой жизнью вряд ли «стоит труда», оставляет ему утешение разве лишь в горькой иронии над самим собой: «А все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!»

Да, и судьбой своей, безотрадной и горькой, и всем складом внутреннего мира Григорий Александрович Печорин принадлежит своему времени. Типический характер последекабрист-

ской эпохи, «лишний человек» тридцатых годов — таким он прочно закрепился в нашем сознании еще со школьной скамьи, таким привычно представляем мы его себе... В этом нет ничего удивительного.

Но ведь столь же привычным, кажется, стало уже для нас и то чувство некоего снисходительного сожаления, с которым говорим мы о Печорине и его собратьях, — не так ли?

Еще бы!.. Эти «лишние люди» не сумели найти достойного применения своим силам, тогда как применение это *можно* было найти!.. Мы ведь отлично знаем теперь, что, как ни ужасна была моровая полоса, протянувшаяся за 1825 годом, время это для русского освободительного движения даром не пропало. Мы знаем, что если оно и казалось тогда мертвым безвременьем, то только казалось, и Герцен был прав, сказав, что хотя будущие поколения «не раз остановятся с недоумением» перед этим «гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли», однако мысль, в сущности, не прерывалась: «по-видимому, поток был остановлен, Николай перевязал артерию, кровь переливалась проселочными тропинками».

Да, столетняя историческая перспектива, открытая нашему сегодняшнему взору, позволяет увидеть достаточно отчетливо, что и «Философическое письмо» Чаадаева, и статьи Полевого, и теоретические споры в кружках Станкевича и Герцена, и литературно-критическая публицистика Белинского — все это было именно движением вперед, упорным и неостановимым, что по всем этим «проселочным тропинкам» передовой мысли шло духовное развитие общества, подготовившее революционный подъем шестидесятых годов. И что из того, что людям николаевской эпохи увидеть это было значительно труднее?..

Конечно, мы всегда готовы принять во внимание это смягчающее их вину обстоятельство. Мы понимаем, что в этом была не только вина их, но и беда: подспудная, совершавшаяся, как говорит Герцен, глубоко под поверхностью общества работа передовой мысли давала знать о себе глухо и редко, видимые проявления ее могли казаться и действительно казались по большей части лишь случайными и запоздалыми отголосками давно усмиренной бури, прощальным приветом прошлого, но не ободряющим залогом будущего. И сохранить в себе веру в это будущее вопреки всей безотрадности реальных, ежедневных впечатлений, найти в себе силы если не для прямой политической борьбы, то для деятельного труда во имя грядущего торжества истины, свободы, гуманности — было делом чрезвычайно трудным. Для этого нужно было не только благородное

сердце. Для этого нужно было пройти долгий и мучительный искус мысли, нужно было достигнуть той глубины и ясности исторического предвидения, при которой вера в будущее обретает надежную основу выношенного убеждения: нужно было суметь увидеть реальные пути борьбы и служения истине. Мы понимаем, что пример лучших людей николаевской эпохи, сумевших увидеть эти пути, это пример очень немногих, — полагать, что все могли стать Белинскими, Герценами и Огаревыми, было бы наивным доктринерством.

Но ведь все же пример этот существует, он перед глазами!.. Вооруженные сегодняшним нашим знанием исторической перспективы, мы не упускаем возможности укоризненно сравнить «лишних людей» тридцатых годов с теми, кто даже и в те беспросветные годы сумел найти пути борьбы с гнусной российской действительностью, сумел прожить жизнь достойно и осмысленно...

Что ж, не будем спорить: несомненное историческое превосходство лучших людей эпохи над Печориным и его собратьями и в самом деле очевидно. Но вот ведь вопрос: означает ли оно, что нам и вообще можно отставить в сторону жизненный опыт «лишних людей» за его малозначительностью, не утруждать себя поисками чего-либо ценного и поучительного в нем, раз уж история оставила нам куда более высокие и благородные образцы духовного героизма людей того времени? Только ли того заслуживают горькие судьбы Печориных и Онегиных, чтобы отнести к ним лишь как к исторически характерному факту, требующему, в лучшем случае, сочувственного понимания и объяснения, но полностью ушедшему в прошлое?

Толпой угрюмою и скоро позабытой  
 Над миром мы пройдем без шума и следа,  
 Не бросивши векам ни мысли плодovitой,  
 Ни гением начатого труда.  
 И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,  
 Потомок оскорбит презрительным стихом,  
 Насмешкой горькою обманутого сына  
 Над промотавшимся отцом...

Чувства, заставившие Лермонтова написать эти строки, вынести этот жестокий приговор своему поколению, понятны. Но что же, — неужели и нам, сегодняшним людям, остается обратиться к поколению Печорина лишь такое же беспощадное «нет», воспользоваться горьким, негодующим призывом поэта как формулой окончательного приговора? Неужели и вправду прошло это поколение по жизни «без шума и следа»? Неужели

в страданиях и сомнениях «лишних людей» и в самом деле нет «мысли плодovitой», а духовный опыт прожитой ими жизни так ничего и не оставил человечеству? Неужели же таков и герой знаменитого лермонтовского романа?..

## 2

Отчетливо помню то странное, беспокойное ощущение, с которым я читал в первый раз «Героя нашего времени», — это было, как, видимо, и у многих других, в восьмом классе средней школы — «согласно программе». На уроках мы препарировали образ Печорина как своего рода наглядное пособие, призванное «закрепить» в нашей памяти схему исторической эволюции эпох: двадцатые годы — пора радужных надежд, революционного энтузиазма, декабристских идей; тридцатые — крушение иллюзий, разочарование в революционных идеалах, пессимизм и отчаяние. В качестве приспособленной для этой цели образной иллюстрации Печорин предстал перед нами примером незаурядного по своей «природной одаренности» человека, не нашедшего в условиях тридцатых годов приложения своим благородным стремлениям, не сумевшего вырваться из-под мертвящего влияния светского общества и превратившегося поэтому в «умную ненужность», в «нравственного калеку». Закрепить за лермонтовским героем соответствующее место в галерее «лишних людей» — где-то между Онегиным, с одной стороны, и Бельтовым, Рудиным, Обломовым, с другой, — к этому, в сущности, все и сводилось, этим все и объяснялось.

Но как могли все эти и подобные им объяснения помочь мне разобраться в том странном чувстве, которое вызывал во мне лермонтовский герой? В том живом, непосредственном ощущении какой-то неясной, но несомненной причастности всего, что происходило с Печориным и в Печорине, к моей собственной жизни, словно все, что думал и чувствовал герой (хотя и странно и невозможно это было себе представить), — все это точно так же мог бы думать и чувствовать и я сам...

Казалось бы, откуда было взяться этому ощущению — юность живет отнюдь не рассудком, и к печоринскому разочарованию в жизни мы не питали, разумеется, ни малейшей склонности. Да оно было нам и не очень понятно: каким реальным опытом сердца могли мы, безусые школяры, уловить жизненную наполненность горького печоринского скепсиса? Что

могло дать нам знакомство с жизненным опытом человека, жившего сто лет назад, если и собственный-то наш жизненный путь был еще весь впереди? Нас поражали резкие, странные афоризмы Печорина, нам ужасно нравилось ошарашить учителя каким-нибудь рискованным откровением вроде: «Я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого...» и т. д. Но мало что приоткрывало нам действительное, реальное содержание этих афоризмов — мало что наполняло их для нас живой, горячей плотью и кровью. Жизненная философия Героя Нашего Времени — если мы вообще хоть что-то понимали в ней — воспринималась нами, естественно, в высшей степени наивно и умозрительно.

А все-таки внутренний, духовный контакт был, несомненно был!.. Вопреки всему, вопреки полнейшей как будто бы несовместимости жизненных принципов лермонтовского героя с нашим собственным реальным опытом, — все-таки был этот человек чем-то удивительно близок, была в нем какая-то несомненная притягательная сила, какое-то будоражащее душу, загадочное, но властное обаяние. Оно-то и заставляло нас повторять мысли, которых мы не могли до конца понять, и даже подражать чувствам, которых мы не способны были еще испытывать...

Нет, это было не просто обаяние сильной личности, крупного, яркого характера, всегда способного взволновать юношеское воображение. И не просто то гипнотическое очарование, которым притягивает к себе человеческий ум, особенно юношеский, все непонятное, загадочное, необычное, непознанное. Это было, бесспорно, пусть не очень отчетливое еще, но явное ощущение высокой духовной значимости и важности соприкосновения с теми жизненными истинами, что таились в «магическом кристалле» лермонтовского романа. Это было непосредственное, еще не осознаваемое нами действие той истинной поэзии, что сквозила во всем облике Печорина и составляла как раз главную тайну обаяния этого бесприютного скитальца далеких и чуждых нам времен...

Да, школа не очень заботилась о том, чтобы разъяснить секрет этого непосредственного, живого притяжения и обаяния — разве лишь постольку, поскольку предлагала нам произвести привычную классификацию «положительных» и «отрицательных» черт героя. И грустно думать, что, видимо, у многих и многих бывших школьников, после того как они вышли из дверей школы, никогда уже не возникало желания вновь вернуться к «Герою нашего времени». Сколько «лишних» и «не

лишних» литературных героев, прошедших сквозь строй подобной школьной «проработки», надолго, если не навсегда, утратили для многих и многих из нас свою привлекательность!..

Конечно, даже и в такой «обработке» какая-то доля действительного содержания романа все же доходила до нас. Тем более нельзя сказать, чтобы историко-социологический взгляд на характер лермонтовского героя и вообще был бесоснователен или малопродуктивен, — я не случайно начал статью именно с этой темы, хотя и рисковал несколько наскучить читателю повторением хорошо известных ему положений.

Однако и самое искреннее стремление к благородному историзму может обернуться плоским историческим комментаторством, лишь только теряется из виду живая связь времен. А что могла сказать нам здесь наша школьная иллюстративная социология? Да и одна ли школьная? Что уж греха таить — по большей части предпочитает хранить гробовое молчание на этот счет и та часть ученого нашего литературоведения, что при всей своей академической осанке так и не сумела выбраться из школьных пеленок...

«Героя нашего времени» причисляют к шедеврам мировой классики. Но если это и вправду так — значит, «история человеческой души», созданная Лермонтовым, — отнюдь не только некий исторический источник, по которому мы можем представить себе живую жизнь тридцатых годов прошлого столетия. Она не может не жить и в нашей сегодняшней духовной культуре. Шедевры, как известно, не умирают: если герои далекого прошлого остаются живыми и близкими нам, если роман или повесть, написанные сто, двести, триста лет назад, читаются и сейчас с живейшим интересом и сердечным волнением, — значит, есть в них нечто такое, что не ушло в прошлое с историей, значит, какой-то стороной своей отшумевшей жизни они живут и сегодня, участвуют в сегодняшних наших спорах и поисках...

### 3

С какой же точки зрения интересен и значителен для нас сегодня опыт жизни, прожитой главным героем лермонтовского романа?

Чтобы ответить на этот вопрос, нет нужды ходить далеко и строить умозрительные конструкции, придавая роману какое-то особое, специальное освещение. Нужно просто прочесть роман — но прочесть действительно с полным вниманием.



Начнем хотя бы с композиции — знаменитой «перевернутой» композиции лермонтовского романа. Чем оправдано это особое построение, в чем его смысл? Обычный ответ на этот вопрос такой:

Лермонтов строит свой роман с тем расчетом, чтобы обеспечить постоянный интерес читателя к *характеру* Печорина, определенную последовательность раскрытия *психологии* героя. Он как бы ведет читателя по своеобразным ступеням все большей и большей полноты этого психологического выявления его натуры: сначала, в «Бэле», мы знакомимся с Печоринным лишь через рассказ Максима Максимыча, человека «простого» и не способного, конечно, понять и объяснить нам его до конца; затем, в «Максиме Максимыче», — несколько дополнительных психологических штрихов, увиденных уже глазами рассказчика, но еще более «заинтриговывающих»; затем «Тамань», где Печорин уже и сам чуть-чуть приоткрывает свой внутренний мир; и наконец «Княжна Мери», где характер героя, его психология раскрываются уже во всей своей полноте.

Правда, при таком объяснении получается некоторая неувязка с «Фаталистом», где психологически Печорин не показывает нам себя как будто бы ни с какой новой стороны и к характеру его, как это отметил в свое время еще Белинский, не прибавляется ни одной новой черты. Но и из этого затруднения находят обычно выход, указывая, что хотя повесть и не добавляет ничего нового к характеру Печорина, но все же усиливает общее впечатление своим мрачным колоритом, служа как бы завершающим эмоциональным штрихом рассказа о Герое Нашего Времени...

Спору нет — все это так. Но только ли так? Разве «ступенчатая» последовательность раскрытия психологии Печорина, составляя внутреннюю «интригу» композиции романа, и сама не содержит в себе, в свою очередь, некую новую «интригу» — настойчиво не ведет читателя к вопросу, который встает перед ним тем неотвязнее и острее, чем лучше узнает он Печорина, чем полнее вырисовывается перед ним характер лермонтовского героя? И разве как раз в «Княжне Мери» — то есть там, где характер Печорина перестает уже быть для нас загадкой и мы видим его во всей полноте его психологических проявлений, — разве в «Княжне Мери» этот новый, интригующий, вызов читателю не достигает своего кульминационного напряжения?..

Давно признано, что главный психологический «нерв» характера Печорина, главная внутренняя пружина, направляющая его жизнь, его побуждения и поступки, — индивидуа-

лизм. Общим местом лермонтоведения давно уже стало и то, что именно эта психологическая доминанта печоринского характера выступает в романе как главный объект художнического внимания Лермонтова и что интерес Лермонтова к индивидуализму Печорина прямо связан с задачей раскрыть характер Печорина именно как типический характер «лишнего человека» тридцатых годов.

Но вполне ли обнимается этим внутренняя «программа» обращения Лермонтова к индивидуалистическому варианту «лишнего человека»?

Роман начинается двумя повестями, которые показывают нам едва ли не самые яркие образцы печоринского равнодушия ко всему на свете, «кроме себя». Несчастливая судьба Бэлы, вырванной из родного гнезда, поплатившейся жизнью лишь за то, что она приглянулась Печорину; безграничный, поистине сатанинский эгоизм этого человека, способного ради удовлетворения своей прихоти изуродовать чужую жизнь, играть судьбой другого; потом «Максим Максимыч» — эта возмущающая нравственное чувство сцена прощания Печорина с бывшим товарищем, где Печорин выказывает такое бессердечие и душевную черствость и где так обидно за бедного Максима Максимыча, получившего в награду за свою преданность лишь холодную вежливость и безразличие!.. Перед нами действительно крайняя степень индивидуалистического равнодушия ко всему на свете, кроме себя...

«Тамань» вновь подтверждает это впечатление, но и здесь тоже — хотя на этот раз Печорин сам рассказывает о себе — мы видим его еще как бы со стороны, только в его поступках, позволяющих нам всего лишь догадываться о том душевном потоке, что течет в них и питает их. И лишь в последней, венчающей повесть, фразе звучит какая-то новая, глухая еще, но многое предвещающая нота: «Что случилось с старухой и бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих!..»

И вот наконец «Княжна Мери», «журнал» Печорина, «исповедь души человеческой» — этот откровенный, беспощадно правдивый рассказ о самом себе, этот трезвый, нелицемерный отчет перед собственной совестью, безбоязненное, проникающее до самых глубин души обнажение ее сокровенных движений, ее верований и мечтаний. Что же нового открывает нам «Княжна Мери» в индивидуализме Печорина?

Да, здесь снова индивидуалистическая природа печоринского характера выказывает себя на каждом шагу: изоощренная

изобретательность, с которой Печорин преследует молоденькую княжну, не имея намерений ни жениться, ни соблазнить ее, — просто для того лишь, чтобы испытать то «необъятное наслаждение», что таится «в обладании молодой, едва распустившейся души», этого «цветка», лучший аромат которого достается лишь тому, кто сумеет сорвать его первым — сорвать и, «подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!»; расчетливое и столь же изобретательное глумление, несчастной жертвой которого оказывается пустой и ничтожный, но, в сущности, ни в чем не повинный мальчишка Грушницкий... Все это еще более усиливает первоначальное впечатление, окончательно убеждает нас в правильности поставленного диагноза. Да, перед нами индивидуализм.

Но всмотримся: здесь это впечатление — уже не просто объективный вывод из поступков Печорина. Здесь индивидуализм Героя Нашего Времени предстает перед нами уже и в некоем новом качестве — смутное предчувствие, возбужденное «Таманью» и заключающей ее жутковатой фразой, оправдывается. С каждой новой страницей дневника Печорина мы все отчетливее сознаем, что Печорина никак не отнесешь к тем людям, характер жизненного поведения которых складывается произвольно, «стихийно», являя собой всего лишь порожденную этими условиями устойчивую, но малоосознанную норму морали. Печорин сходит к нам со страниц своего дневника подлинным сыном своего времени — времени поисков и сомнений, напряженной, лихорадочной работы мысли, все и вся подвергающей разъятию, анализу, пытающейся проникнуть в самые истоки «добра и зла». Плоть от плоти и кровь от крови своего поколения, Печорин находится в постоянном раздвоении духа; тяжкая печать рефлексии, постоянного самоанализа лежит на каждом его шаге, каждом движении. «Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» — говорит он о себе сам. И мы видим, с какой трезвой ясностью отдает он себе отчет в характере своих поступков и побуждений, как верно понимает смысл малейшего движения собственной души. Мы видим, что индивидуалистическая природа его поступков — отнюдь *не секрет* для него самого. Она вполне им осознана.

Более того, на каждом шагу мы убеждаемся, что здесь перед нами не просто некое пассивное самосознание, умение признаваться себе в тайных пружинах своих поступков, но и го-

раздо более устойчивая, последовательная жизненная позиция. Мы видим, что перед нами — *принципиальная программа жизненного поведения*.

«Идея зла, — замечает Печорин на одной из страниц своего «журнала», — не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то; их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие». И он не только не устает действовать, но не страшится и откровенно формулировать свое кредо, — и вот уже мы читаем в его дневнике признание, где формула эта отточена до предельной отчетливости и остроты: «Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы...»

Да, в любой ситуации Печорин обнаруживает себя перед нами человеком, не просто *привыкшим* смотреть на страдания и радости других только «в отношении к себе», но и вполне сознательно идущим по этому пути ради того, чтобы хоть как-то, хоть на время забыть о преследующей его «скуке», о гнетущей пустоте существования. Он действительно — и вполне сознательно — «ничем не жертвует» для других, даже для тех, кого любит, — он любит тоже «для себя», «для собственного удовольствия».

Правда, у него нет и полной внутренней убежденности, что именно индивидуалистический символ веры есть истина, — он подозревает о существовании иного, «высокого назначения» человека, допуская, что он просто «не угадал» этого назначения.

Но реальностью, единственной реальностью, пока не «угадано» нечто другое, остается для него именно этот принцип — «смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе». И он повторяет вновь и вновь это «правило», он развивает на его основе целую теорию счастья как «насыщенной гордости» («Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость»), — по всему видно, что «правило» это кажется ему единственно надежным и реалистическим...

Таким предстает перед нами Печорин в «Княжне Мери».

Но ведь тем самым мы действительно оказываемся перед новой, не менее «интригующей» загадкой!..

Чем яснее мы видим, что Печорина никак нельзя назвать «стихийным» индивидуалистом, чем больше мы убеждаемся в

том, что каждый шаг его, каждое движение «взвешены» и проверены мыслью, тем настойчивее встает перед нами вопрос: какая же логика убеждений, какой путь мысли привели Печорина — человека, привыкшего во всем отдавать себе отчет, все подвергать холодному и трезвому анализу, все выводить из исходных оснований, — к признанию в качестве основного правила жизни — правила «смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе»?

Разочарование в возможности проявить себя на общественном поприще? Вывод, что раз уж любые действия во имя высоких общественных целей обречены, остается жить только «для себя»?

Что ж, логика подобных объяснений нам достаточно хорошо знакома. Но задумывались ли вы о том, читатель, что обыденность мерки, которая прилагается к Печорину при такого рода «оправдании» его индивидуализма, свидетельствует лишь о сомнительной привычке считать вполне естественным, «житейским» делом отступничество от любых идеалов, раз их сегодняшнее осуществление «тактически» невозможно? Задумывались ли вы о том, что если несчастная Бэла, простодушный и преданный Максим Максимыч, наивная и чистая, не испорченная еще светом Мери расплачиваются лишь за то, что Печорин презирает общество, отвергнувшее его, — значит перед нами просто мелкая месть попранного самолюбия, оскорбленного тщеславия — ах, раз обстоятельства не дают мне достойно удовлетворить мое честолюбие, раз светская чернь не заслуживает того, чтобы обращаться с ней по-людски, так пусть же страдают за это все, кто только ни попадется на пути?!..

Если бы и вправду к Печорину можно было применить эту постыдную мерку, перед нами был бы, конечно, уже не Печорин, а духовный пигмей, циник, знающий о существовании истинных идеалов человеческого поведения, но — просто потому, что жить согласно их требованиям трудно, — плюющийся на них во всем, даже в частной своей жизни...

Нет, здесь явно не хватает какого-то звена, какой-то последней решительной черты, способной объяснить нам действительные истоки печоринского демонизма. «Княжна Мери» не дает нам еще ответа на вопрос, который как раз в этой повести и встает перед нами особенно неотвязно и настойчиво.

Такова внутренняя «интрига» печоринского сознания, развернутая перед нами композицией романа. Остается только сказать, что последнее, недостающее ее звено и есть тот самый как раз «Фаталист», которому отводится, как правило, роль

всего лишь некоего завершающего эмоционального штриха, призванного концентрированно выразить общее «настроение» романа своим мрачным колоритом...

Да, все не так просто. И «Фаталист» — отнюдь не «довесок» к основной, самостоятельно значимой части романа. В известном отношении он занимает в системе повестей «Героя нашего времени» ключевое положение, и без него роман не только потерял бы в своей выразительности, но во многом утратил бы и свой внутренний смысл. <...>

## 4

<...> «Фаталист» и в самом деле раскрывает нам Печорина с существенно новой и важной стороны. Оказывается, «рефлексия» Печорина куда более серьезна и глубока, чем это представляется поначалу... Оказывается, и в этом тоже Печорин до конца верен своему времени — времени, подвергнувшему пересмотру коренные вопросы человеческого существования, во всем пытавшемся идти «с самого начала», времени небывалого доселе, напряженнейшего интереса к важнейшим философским проблемам, — времени, когда, по выражению Герцена, «вопросы становились все сложнее, а решения менее простыми». Печорин тоже, как видим, пытается идти «с самого начала», пытается решить вопрос, которым действительно все «начинается».

Это вопрос о тех первоначальных основаниях, на которых строятся и от которых зависят уже все остальные человеческие убеждения, любая нравственная программа жизненного поведения. Это вопрос о том, предопределено ли высшей божественной волей назначение человека и нравственные законы его жизни или человек сам, своим свободным разумом, свободной своей волей определяет их и следует им. <...>

Вспомнив о «людях премудрых», посмеявшись над их верой в то, что «светила небесные принимают участие» в человеческих делах, Печорин продолжает: «Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам для блага человечества... и равнодушно переходим от сомнения

к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...»

Вот она, самая трудная проблема атеистического мировоззрения, вполне отчетливо сознаваемая, как видим, Печориным, встающая перед ним действительно во весь рост!..

Печорин не случайно сопоставляет веру и неверие, «людей премудрых» и их «потомков». Способность к добру, к «великим жертвам для блага человечества», к служению этому благу есть только там, где есть убежденность в истинности, конечной оправданности этого служения. Раньше людям премудрым эту убежденность давала именно вера в то, «что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием», что «жертвы для блага человечества» освящены именно конечной целью жизни — бессмертием и блаженством человеческой души в загробном мире добра и справедливости. Но что может сказать о цели человеческой жизни тот, кто утратил эту веру?

Да, он может мужественно сказать себе, что, стало быть, смысл жизни следует искать только в самой жизни, что раз уж человеку отпущен какой-то срок земного существования, ничто не может оспорить его права прожить этот срок всей полнотой заложенных в нем сил, способностей, стремлений и запросов. Он может сказать себе, что, раз судьба его свободна от предопределения, стало быть, он сам творец своей жизни, стало быть, он — по самой природе своей — суверенное и свободное существо.

Но ведь весь вопрос в том как раз и состоит — в чем же эта мера полноты человеческой жизни? В каких свободных проявлениях своей человеческой природы обретает ее человек? Как может убедиться человеческий разум, что служение общему благу есть непременно ее условие?.. <...>

С этой проблемой и сталкивается лицом к лицу Печорин, отвергая наивную веру «предков», не принимая религиозного принципа оправдания добра...

Находит ли он пути ее позитивного разрешения?

Увы, как свидетельствуют его раздумья — положение его безотраднo и бесперспективно. Горькое признание Печорина в том, что его поколение в отличие от «людей премудрых» не способно «к великим жертвам для блага человечества», доказывает, что ему *ничего* поставить на место той спасительной веры в провидение, что была для «предков» стимулом «благородных побуждений». Отбрасывая религиозный миф, Печорин



не в состоянии вместе с тем и противопоставить ему какой-либо иной позитивный нравственный принцип, указать на какие-то иные, реальные и разумные, основания, в силу которых можно было бы признать, что гуманизм есть действительная истина человеческой жизни...

Что же остается?

Остается единственный вывод: раз так, раз уж необходимость добра представляется в высшей степени проблематичной, если не просто призрачной, то почему бы и не встать на ту точку зрения, что и в самом деле — «все позволено»? Остается действительно ведь только одно — единственно «беспорная», очевидная реальность: собственное «я». Остается именно индивидуализм — в тех или иных его формах, вплоть даже и до той, что обозначена знаменитой формулой героев Достоевского. Остается принять именно собственное «я» в качестве единственного мерила всех ценностей, единственного бога, которому стоит служить и который становится тем самым по ту сторону добра и зла...

<...> Глубинный, безысходный скепсис, всеобщее и полное отрицание, разъедающее сомнение в истинности добра вообще, в самой правомерности существования гуманистических идеалов, — вот действительный крест печоринской души, ее гнетущая ноша...

Смысл «Фаталиста», принципиально важное значение его для понимания образа Печорина и всего романа в целом в том как раз и состоит, что, обращая нас к этим мировоззренческим истокам печоринского индивидуализма, заставляя нас понять его как определенную концепцию жизни, он заставляет нас тем самым и отнестись к печоринскому индивидуализму именно с этой точки зрения прежде всего — не просто как к психологии, не просто как к исторически-показательной черте поколения тридцатых годов, но и как к *мировоззрению*, как к *философии жизни*, как к *принципиальной* попытке ответить на вопрос о смысле жизни, о назначении человека, об основных ценностях человеческого бытия. Он требует, чтобы именно под этим углом зрения прежде всего мы и рассмотрели жизненный путь лермонтовского героя, оценили итоги того детальнейшего, пристальнейшего анализа печоринской души, того неутомимого вглядывания в каждое движение сердца, в каждый шаг героя, которым до сих пор поражает читателя знаменитый роман Лермонтова.

Иными словами, он требует, чтобы мы поняли роман Лермонтова как *философский роман*, ибо постановка вопроса, ко-



торую он диктует нам, и есть та самая постановка вопроса, которая характерна как раз для философского романа и в принципе отличает его от романа социально-бытового... <...>

## 5

<...> Ценность, человеческое содержание духовного опыта Печорина... Но мрачный скепсис, безысходность отрицания, неспособность найти реальные, без обращения к помощи божественного провидения, обоснования гуманизму — что во всем этом поучительного и важного?..

Что ж, легче всего, конечно, отнестись и к этому скепсису, и к этой неспособности признать истинность гуманизма всего лишь как к недостатку ума и проницательности. Проще всего посчитать Печорина за некоего школьника, не выучившего как следует урока, не пожелавшего овладеть накопленной премудростью и пустившегося — по собственному недомыслию, верхоглядству и незрелости — во все тяжкие, в доморощенный дилетантский скепсис.

Но, сказал бы Белинский, — отнесясь так к Печорину, не придем ли мы «не в свое место», не сядем ли за стол, за которым нам «не поставлено прибора»?.. Легче всего обвинить человека за то, что он не пришел к истине. Но каждый ли из обвиняющих может сказать, что он знает эту истину? И если даже уверен, что знает, — знает ли он ее в действительности? <...>

Печорин смеется над всем на свете; для него не существует святых, во всем он умеет найти тайное присутствие зла, добродетель бледнеет под его тяжелым, проницательным взглядом, и род людской выступает перед нами из этого беспощадного судилища не заслуживающим особого доверия и уважения. Это несправедливо и жестоко? Конечно, — именно как жестокое преувеличение, мрачная односторонность. Но не лучше ли, не мужественнее ли даже и такое преувеличение сладкой кашицы моралистических проповедей и призывов, добреньких иллюзий религии, прекраснодушных упований розового гуманизма, все свои надежды возлагающего на пресловутую «непорочность» исконной человеческой природы, наивной легенды о всепобедительной власти добра над злом, об обязательности и несомненности его всегдашнего и конечного торжества?

У Печорина нет веры, нет идеала? Но, во-первых, не забудем, что он и сам страдает от этого, тоскует о «высоком» назна-

чении человека, которого он «не угадал». В его скепсисе нет ни тени того самодовольства, что отличает всякого рода несостоявшихся гениев, с наслаждением оплевывающих все на свете и видящих в слюнявом брюзжании свое превосходство над «толпой». Скептицизм Печорина не циничен — он истинное его страдание, в нем жажда выхода, жажда идеала.

Во-вторых же, согласимся с тем, что и самый пленительный идеал похож на мыльный пузырь, если он — всего лишь «нас возвышающий обман», убаюкивающая сказка, если в нем нет крепкой связи с действительностью, трезвого знания ее реальной природы. Печорин не ниже, а неизмеримо выше «людей премудрых» не потому только, что отбросил их наивную веру в божественное предопределение. Он выше их потому, что его отрицание, его взгляд на жизнь составляет неизмеримо более высокую и зрелую ступень овладения действительной истиной жизни, действительным знанием человеческой природы, чем любая нравственная программа любой религии. И настоящее, и самое важное, значение этой ступени заключается именно в том, что она *расчищает дорогу новому — свободному и мужественному, трезвому и глубокому гуманистическому мировоззрению*. <...>

Ни одно серьезное мировоззрение, претендующее быть философией жизни и нравственным требованием, не может не быть основано — если только оно действительно хочет быть серьезным — на глубоком и трезвом знании действительной меры человеческой природы, ее действительных возможностей, сил и запросов. Здесь разрушительно опасны и грозят самими катастрофическими последствиями всякое принижение, всякая дань мизантропии или презрительному скепсису. Но столь же отвратительны и катастрофичны всякая натянутость, идеальничание, экзальтированная наивность и прекраснодушие. Той трезвостью, тем умением видеть вещи в их настоящем свете, что свойственны Печорину при всей гипертрофии его отрицания, он близок нам, сегодняшним людям, он наш предшественник и союзник. И здесь мы с полным основанием можем видеть одно из самых ценных обретений, которые дало ему освобождение от наивной веры «людей премудрых», осознание в себе суверенного и свободного существа, своим собственным разумом постигающего смысл бытия и предписывающего себе критерии и нормы жизни...

<...>

Но и свобода человека становится высочайшей человеческой ценностью только на путях гуманизма. Нет этого сочетания — и она может оказаться свободой самых античеловечных, противоречащих природе человека проявлений, свободой умирания в человеке человека. И это тоже подтверждает опыт жизни Печорина, ибо, как ни ценны и ни близки нам те истинные обречения, что есть в этом опыте, он не может быть истинным в своей цельности. <...>

Каждый шаг Печорина — словно издевательская насмешка судьбы, словно камень, положенный в протянутую руку. Каждый шаг его с неумолимой последовательностью доказывает, что полнота жизни, свобода самовыявления невозможны без полноты жизни чувства, а полнота чувств невозможна там, где прервана межчеловеческая связь, где общение человека с окружающим миром идет лишь в одном направлении: к тебе, но не от тебя.

Нет, видимо, счастье — это все же не насыщенная гордость, и быть причиной страданий или радости другого — иллюзорное удовольствие, если ты не имеешь на это никакого «положительного права». Ибо право свое на это ты можешь ощутить только тогда, когда заплатил за него равной монетой, когда обращенные к тебе ненависть, любовь, нежность, восхищение, страх, озлобление, преданность, признание достаются тебе не как случайный и незаконный, полученный не по адресу дар судьбы, а завоеванный твоей собственной любовью, нежностью, ненавистью, мужеством и преданностью. Иначе, когда в дарах этих нет твоей собственной крови, отзвука твоих собственных чувств, возвращения тебе затрат твоего собственного сердца, — нет и удовлетворения. Человек — это по самой своей природе «общественное существо» — не приспособлен для самоизоляции, для замкнутого существования в себе самом. Радости и страдания других действительно нужны ему как пища, но они становятся действительной пищей его жизни лишь тогда, когда они рождены как ответный и равный отклик, когда они получены в процессе того межчеловеческого общения, критериями которого являются именно добро, благородство стремлений, справедливость, равенство, невозможность быть счастливым, не давая счастья другому.

И как решительно подтверждает это, вопреки выкладкам печоринского рассудка, уже и самый опыт немногочисленных радостей его души! Нет, душа его не вовсе «испорчена све-

том» — это напрасное обвинение, обвинение не по адресу. Она-то как раз, поскольку она живет, и не может заглушить в себе действительных своих потребностей. Она помнит, что именно былой «пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни». Вопреки всем уверениям Печорина, что он лишь для собственного удовольствия добывается любви молоденькой княжны Мери, душа его страстно жаждет истинной, зависимой влюбленности, и Печорин с удивлением ловит себя на том, что ждет встречи с Мери. «Наконец, они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужели я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать».

Он уверяет себя, что постоянная привязанность — всего лишь «жалкая привычка сердца». Но он вынужден признаться, что его, пожалуй бы, удовлетворила эта «жалкая привычка». Он смеется над своей «глупой» природой, но с трепетом вслушивается в невольные, манящие какой-то неясной надеждой движения своего сердца. И не без радостного удивления он чувствует, что при возможности потерять Веру она становится для него вдруг всем, становится дороже всего на свете!.. «Уж не молодость ли со своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять?..»

Белинский был прав, сказав о нем: «Пусть он клеветает на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клеветает на человеческую природу, видя в ней один эгоизм... Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взрывает ее страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы...»

Благодатный дождь не оросил засохшую землю — Печорину не суждено было понять этот внутренний голос человеческой природы и пойти за ним. Верный сын своего времени, вечный мученик разума, послушный только его приговорам, Печорин остался пленником своего рокового убеждения: только победа мысли, увидевшей, обосновавшей и признавшей правомерность и необходимость иного пути, чем индивидуализм, могла бы освободить его от тяжких вериг нравственного кодекса индивидуализма, а именно этого-то как раз и не произошло. И потому, хотя избранный им путь и не принес ему счастья, и он сам это сознает и страдает от внутренней пустоты, от *скуки*, от невозможности ощутить себя живущим действительной полнотой жизни, он остается верен все-таки именно этому пути: ничего другого, что могло бы казаться более бесспорным, ра-

зумным, способным выдержать холодный и трезвый суд разума, он не видит. Голос сердца, его естественных потребностей не успел еще озарить его догадкой, что именно он и есть голос истины. Истина — действительная истина, вобравшая в себя все обретения, всю трезвость его нынешнего взгляда на жизнь, — осталась для него закрытой. Он сумел отбросить иллюзорный гуманизм религиозного сознания, но истины иного — высшего, действительного — гуманизма не обрел...

Что ж, истина — вещь дорогая. За нее платят иной раз и жизнью. И чтобы добыть ее, иной раз нужны усилия многих поколений. Одной жизни на это может и не хватить.

Но зато всякая жизнь, бывшая действительным поиском этой истины, навсегда входит в духовный опыт человечества. И если историей своей жизни Печорин указал на путь к этой истине тем, кто с сочувствием, состраданием, с напряженнейшим интересом, захваченный беспощадной откровенностью и предельной искренностью, выслушал его исповедь, то не достаточно ли это оправдание его горькой судьбы?

Повторяю, вполне может быть, что истина эта не вполне осознана даже и самим Лермонтовым, — недаром еще Белинский отметил в свое время, что «хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство». Эта близость автора к герою, сказавшаяся в том, что «он не в силах был отделиться от него и объективировать его», справедливо была оценена Белинским как художественный недостаток романа и как причина некоторой неопределенности, «недоговоренности» его общей идеи. Это так. И все же объективная логика реалистического изображения достаточно определена. Она говорит сама за себя.

Историей жизни Печорина Лермонтов рассказал нам, читателям, о том, что путь индивидуализма противоречит природе человека, ее действительным запросам. Он еще раз убедил нас, что подлинные и высшие радости, подлинную полноту жизни живая человеческая душа начинает обретать лишь там, где связь между людьми строится по законам добра, благородства, справедливости, гуманизма. Он поведал нам о том, что только на этом пути свобода воли, самостоятельность решений, обретенная человеком, осознавшим свою суверенность, раскрывает свою истинную цену. Так же — как и трезвость мысли, реалистичность взгляда на мир, глубокое и трезвое знание человеческого сердца.

Таковы итоги рассказанной нам Лермонтовым «истории души человеческой». Итоги, которыми дарит нас объективная логика романа, его реализм. Итоги, в которых выразились трагически противоречивые, но несомненные завоевания передовой гуманистической мысли тридцатых годов прошлого века.

Впрочем, мне могут заметить, что взгляд на Печорина, изложенный выше, уже устарел. Моя статья была сверстана, когда появилась работа А. Титова «Лермонтов и “герои начала века”» (Русская литература. № 3. 1964), из которой следует, что Печорин — вовсе не «лишний человек» тридцатых годов, не представитель поколения последекабристской эпохи, а *декабрист*. Один из тех, кто случайно уцелел после разгрома восстания и чью психологию и идеологию следует понимать именно как психологию и идеологию декабриста. Доказательства? Разумеется — «Лермонтов был связан по рукам и ногам цензурными условиями и не мог, следовательно, прямо указать на декабристское прошлое своего героя». Но разве, раскрывая психологию Печорина, романист не чувствовал «себя намного свободнее, поскольку здесь он оперировал уже гораздо более тонкими категориями, подчас неуязвимыми для цензуры»? И вот, обращаясь к этим «тонким категориям», к этим «намёкам», которыми «оперировал» Лермонтов, А. Титов «расшифровывает» «заднюю мысль», «декабристский смысл романа», «не разгаданный» даже Белинским. И мы с удивлением спрашиваем себя, как же это раньше мы не догадались, что, заявляя о своем намерении уехать куда-нибудь подальше, в Америку или в Аравию (но только не в Европу), Печорин выражает не просто обычное для людей его склада отвращение к лицемерной европейской цивилизации, но «приоткрывает перед читателем один из сокровенных уголков своей души, выдает — хотя и косвенно — свои декабристские убеждения» (известно ведь, что «демократический строй Соединенных Штатов Северной Америки большинство декабристов признавало образцом для своих собственных конституционных проектов...»). При помощи такого же рода сопоставлений мы обнаруживаем, что под «бурями и битвами», о которых говорит Печорин, сравнивая себя с матросом разбойничьего брига («его душа сжилась с бурями и битвами...»), он имеет в виду, конечно же, восстание декабристов, а под «предками», что были способны к «великим жертвам для блага человечества», — декабристов. Что сам он — «возможный участник» восстания и «лично пережил кру-

шение дворянской революции». И что принадлежит он к той «связанной с движением группе лиц», которая «по тем или иным причинам» не обладала «стойкостью и последовательностью политических взглядов...»

Ну что ж, скажет читатель, статья выдержана, стало быть, в традициях той литературоведческой школы, которой принадлежит честь открытия, что Клеопатра из «Египетских ночей» Пушкина — это свобода, ее любовники — декабристы, а их ложе — Сенатская площадь. Справедливо. Но если бы дело сводилось только к этому, о статье вряд ли нужно было бы в данном случае упоминать. Показательно в ней другое — стремление автора всеми силами уйти от рассмотрения действительных проблем романа, действительного содержания образа Печорина, — хотя бы даже с помощью и таких вот псевдонаучных изысканий. Лишь бы только не остаться лицом к лицу с холодным скепсисом Печорина, с его индивидуализмом и эгоизмом, лишь бы избавить себя от необходимости ответить за него перед судом современности!.. Разве это не показательная тенденция?

И еще. Как видим, статья А. Титова спорит — и агрессивно спорит — с тем взглядом на Героя Нашего Времени, который видит в нем именно человека *последекабристской* эпохи — эпохи сложной, трагически противоречивой, но отнюдь не бесплодной. Это очевидно. Но *как* спорит А. Титов? Очень странно. Называются имена тех или иных исследователей, исповедующих не угодную нашему оппоненту точку зрения, — один, другой, третий. Но полноте, разве эта точка зрения — их собственное изобретение? А где же Белинский и Герцен? Здесь статья А. Титова тоже, к сожалению, показательна для определенной тенденции. Она вызывает желание сказать: вы хотите спорить? Извольте. Но будьте любезны — с открытым забралом. Вопрос для нашего времени слишком серьезный, чтобы можно было делать вид, будто и не существует традиции мысли, начало которой положили великие современники Лермонтова.

Живая связь этой мысли с нашей сегодняшней гуманистической концепцией человека, с проблемами жизни современных людей несомненна. Так же, как несомненна значимость для нас духовных поисков героя лермонтовского романа, поисков, в которых выразились *всеобщие* моменты жизни человеческого духа, ибо те проблемы, что стояли перед героем романа и толкали его на путь исканий, — это проблемы, имеющие действительно непреходящее значение, и перешагнуть через них

не может ни один человек, сознательно выбирающий свой жизненный путь. В том числе и человек, видящий в коммунизме «возвращение человека к самому себе как человеку обществу, т. е. человеческому», «подлинное разрешение противоречий между человеком и природой, между человеком и человеком, между индивидом и родом».

«Такой коммунизм, — как сказано у Маркса, — = гуманизму». И с позиции «такого коммунизма», как «завершенного гуманизма», не может быть, разумеется, никаких сомнений в высочайшей значительности для нашего сегодняшнего времени гуманистических исканий прошлых эпох.

Такой коммунизм вбирает в себя весь многовековой опыт развития гуманистической природы человека. Он — подлинный наследник всех завоеваний предшествующей культуры гуманизма, он — действительно «завершенный гуманизм».

Потому-то и живут живой, полнокровной жизнью в сегодняшней нашей духовной культуре далекие герои прошлых эпох, воплотившие собой извечный поиск человеком человека в самом себе. Потому-то и сохраняют для нас все непосредственное, живое значение и духовные искания лермонтовского героя.

